

ПРЕКРАСНЫЙ СТИЛЬ

П Р О З А

**ДМИТРИЯ ЛИХАНОВА**

## Андрон Сергеевич Кончаловский

### ЭТУ КНИГУ НЕЛЬЗЯ ЛИСТАТЬ

**Э**ту книгу нельзя листать — её нужно смаковать.

Роман Дмитрия Лиханова — удивительное литературное явление. Любое произведение о животном — это всегда о человеке.

«Бьянка» — тоже не только о собаке, но о людях, среди которых она жила.

Повесть о человечности и подлости, доброте и предательстве. О Дружбе. И бескорыстной Любви. Автор бесстрашно погружает зрителя в мельчайшие подробности переживаний собаки по имени Бьянка. Игнорируя нетерпеливость сегодняшнего читателя, он так же неторопливо погружается в бесхитростный быт многочисленных персонажей романа, заглядывая в закоулки их существования.

Лиханов заглядывает в глубину и закоулки нашего родного языка, смакуя удивительные народные слова, которые он открывает для нас, чтобы мы могли полюбоваться его богатством. Эта книга пропитана любовью

к природе, ко всему живому, ко всем этим «по-чеховски» несостоявшимся людям. Движения сюжета неожиданны, но логичны, — какой на самом деле и является наша жизнь... Я прочитал эту книгу, удивляясь ее свежести и смелости.

В заключение, позволю себе вольную цитату из произведения другого русского писателя — Гавриила Николаевича Троепольского, который тоже написал роман о дружбе собаки и человека:

«Ни одна собака в мире не считает преданность чем-то необычным. Но люди придумали превозносить это чувство собаки как подвиг только потому, что они не часто обладают преданностью другу настолько... чтобы это было естественной основой... когда благородство души — само собой разумеющееся состояние».

Лёжа на талом снегу в ожидании близкой смерти, Бьянка вдруг вспомнила запах матери, сотканный из слабых, еле памятных ароматов: её тёплого жирного молока, сухого сена с лоскутами увядших васильков, тлеющей дымно листвы, что жгли на дачах в ту самую первую осень её начинающейся жизни.

Запах тлеющих листьев был одним из первых, а потому особенным: острым, густым, вобравшим в себя всё, что смогло вместить короткое земное бытие всякого листа: от клейкой, стрельнувшей навстречу теплу почки до обречённого полёта к холодеющему телу земли. Поздний сентябрь увядал, и деревья сыпали листвой повсюду. Клён устилал зелёную пока ещё траву пышным апельсиновым одеялом. Тополя лениво, но как-то дружно стряхивали свои последние пепельные ошметки. И некрасиво, широко сорила мелкими листочками старая, стволом в три охвата, ива. Но ещё красовались на

солнечных припёках одетые в тусклый пурпур рябины с тяжёлыми пучками подмерзающих алых ягод, а трепетные осинки обливала светлая яичная желтизна. Пройдут недолгою чередой прозрачные дни, и лазурь неба надолго затянет клубящаяся хмарь, зачастят дожди, вымочат до самой сердцевины дерева, и последние листья на них оборвёт порывистый северный ветер, унесёт в грязь, в лужи, в тлен. Наступит зима. Бесконечная. Студёная.

Но Бьянка ещё не знала зимы. И лета она не видела. Появившись на свет в начале сентября, она ощутила осень как вечное состояние окружившего её мира.

Солнце дотрагивалось до её не прозревших ещё глаз тёплыми лучами, и тонкая плёнка век наполнялась розовым светом. Она чувствовала доброту этого света: великую, нескончаемую любовь обещала ей, малой Божьей твари, её начинающаяся жизнь.

Матери она тоже пока не знала. Вслепую, по сильному запаху, находила её грубые сосцы, припадала и жадно, захлёбываясь, цедила молоко, не понимая его источника. Она постоянно чувствовала голод и торопилась утолить его.

В первые дни она много спала рядом с матерью. Грелась её теплом. Когда мать уходила, звала её слабым, едва слышным писком. Вслед за ней принимались тоненько жаловаться сёстры и братья. И мать возвращалась. Осторожно, боясь придавить щенков, ложилась рядом.

В этом помёте у старой лайки Берты их было четверо: два чёрно-белых кобелька и такого же окраса сучонка. Последней она выдавила из себя совершенно белую девочку. Чистую, словно снег. Это и была Бьянка. Вылизывая её, сглатывая солёные плёнки плаценты, Берта дивилась: никогда ещё не было у неё таких щенков. Возможно, поэтому беленькую она вылизывала от крови и сгустков слизи особенно долго, не оставляя на снежной шёрстке ни пятнышка. Повторяла это, пренебрегая другими щенками, часто, по нескольку раз в день.

Первое, что увидела Бьянка, когда прозрела, был воробей. Попрыгивая возле алюминиевой миски, он склёвывал остатки собачьей пищи, изредка косясь на Бьянку бусинкой чёрного глаза. Неуклюже переваливаясь, она заковыляла к нему, готовая грозно зарычать на незваного гостя, а на самом деле лишь пару раз твякнула — звонко. Трепыхнув крыльями, воробей улетел прочь. А Бьянка приблизилась к прутьям своей клетки. Только теперь приоткрылся ей краешек мира, в котором ей предстояло прожить всего-то шесть лет её собачьей жизни.

Этот мир начинался с ржавой бочки из-под авиационной солярки, что стояла рядом с клеткой неведомо для какого предназначения. Тут же, обок, корявилась старая ветла, чьи ветви, похожие на узловатые человеческие пальцы, упрямо тянулись к солнцу, просили свою кроху тепла и света. Давным-давно кто-то из служащих при-

вязал к стволу её для каких-то хозяйственных нужд обрывок стального, в мизинец толщиной, прута, да и забыл его по ненадобности. С тех пор, не в силах разорвать стальную узду, ветла мягким своим телом каждый год всё глубже, настойчивее укрывала её в себе, покуда та не увязла в ней, не утонула в её влажной мякоти, победно утверждая жажду жизни и тщетность любой узды, любого насилия и плена. Слева от ветлы тянулся ряд одинаковых деревянных клеток-сараяшек под кровельным железом и с прутьями впереди, покрашенных свежей, ещё не выцветшей на солнце и под дождями, зелёной краской. В ближнем к ней соседстве, поняла Бьянка, тоже жили собаки. Они подвывали. Иные лаяли громко. Скребли когтями деревянный настил клеток. Тяжко вздыхали. Гремели казёнными мисками. Переругивались между собой и порой даже устраивали короткие драки, в которых не было ни победителей, ни побеждённых, а лишь только слегка прихваченная зубами холка противника да клочок вырванной у него шерсти.

Охранял собачьи вольеры латанный старой жостью да бракованным штакетником забор, из-за отсутствия денег и воровства местами вовсе дырявый, пацанами да бомжами ломанный на костры. Тем не менее верх по всей длине забора венчала ошестинившаяся «колючка», которую в смутные перестроечные времена директор питомника выменял у командира соседней воинской части за несколько породистых щенков — нужных коман-

диру для прибывающего с проверкой въедливого инспектора из Минобороны. (Тот был страстный охотник и взяточник.)

За клетками свежей масляной краской алел пожарный щит, к которому лет десять тому назад накрепко прикрутили ржавый багор, да топор затупившийся, списанный, да худой, весь в проплешинах и дырах, гидрант, подключать который всё равно было некуда. Однако пожарные, всякую инспекцию получая в подарок не лучших, но всё же породистых щенков, закрывали на эти «мелкие нарушения» глаза. Просили только подновить свежей краской щит да хотя бы раз в квартал проводить инструктаж персонала на случай возможной эвакуации.

Вполне естественно, что щенки для собачьего питомника были самой ходовой, расхожей валютой. Разводили тут исключительно лаек, а для любого охотника, особенно же для того, кто идёт в лес с серьёзными намерениями, касающимися лося, кабана или медведя, лайка — самый верный товарищ и друг. Особенно если собака хорошей крови да правильной подготовки. А таких в питомнике всегда хватало.

Сама Бьянка, если бы каким-то чудом могла понимать хитросплетения собачьих родословных, с удивлением узнала бы, что её дальними предками были Тайга и Мишка из товарищества охотников Иваново-Вознесенска, те самые Мишка и Тайга, чья безграничная и верная любовь подарила стране выдающихся представителей за-



падносибирских лаек и таким образом, как потом запишут в учебниках и научных статьях, «оказали значительное влияние на формирование всей их породы». Сам Мишка, если вчитываться глубже в собачьи архивные документы, происходил, в свою очередь, от союза Себерта и Нельвиры, принадлежавших доктору Пузевичу из города Обдорска, и появился на свет аж в далёком 1924 году. Так и осталось загадкой, откуда лайки взялись на этой северной ненецкой земле, где, как известно, всю царит лесотундра, а лайки — с длинной шерстью, «оленегонные», стало быть, под стандарты лесной охотничьей породы вовсе неподходящие. Тем не менее и у легендарного Мишки, и у его дальнего потомка Бьянки прослеживались всё те же признаки их древних предков — вогульских и остяцких собак, что с давних, незапамятных пор помогали человеку вести охоту в диких чащобах Северного Урала и Западной Сибири: этот косой разрез век, эта красивая «муфта» на шее, этот туго завитый кольцом хвост, карие глаза, острая морда — словом, всё, что отличало беззаветных тружеников леса от остального собачьего племени.

Но снежный щенок Бьянка об этом, конечно, не знала, не ведала.

Над клетками кружили и опускались на землю яркие листья старого клёна. А над клёном уходило вверх бездонное небо, и солнечные зайчики слепили Бьянке глаза.

Скрипнула железная калитка, мимо прошла Девушка в Чёрной телогрейке с эмалированным

ведром в руке. Хлопали друг о друга широкие голенища её резиновых сапог, трепался на ветру подол байкового платишка, и её уже встречал нетерпеливый собачий гомон. Только Бьянка молчала, не понимая причин всеобщей радости. Через недолгое время девушка уже возвращалась обратно. И ведро её было заметно легче, и настроение, наверное, получше, потому что остановилась она возле клетки, где лежала Бьянка, и та вдруг пошла ей навстречу. Девушка присела, протянула сквозь прутья ладони с бурыми полосками под ногтями. Ладони пахли мясом, свернувшейся кровью, однако Бьянке отчего-то не было страшно. Она не отскочила, когда ладонь дотронулась до её головы.

— Вот ты какая чистенькая и опрятная, — сказала Девушка в Чёрной телогрейке, почёсывая Бьянку за ухом. — Ну, значит, долго ты у нас не удержишься.

Что значили эти важные для неё слова, лайка-младенец, конечно, не понимала. Но голос Девушки в Чёрной телогрейке был ласковым, и угрозы от её руки не исходило. Когда она поднялась уходить, Бьянка долго смотрела ей вслед, пытаясь запомнить её запах, походку, силуэт.

Девушка в Чёрной телогрейке по несколько раз проходила мимо клетки, где обитала старая Берта и четверо её новорождённых щенков. Из своего эмалированного ведра, над которым парил восхитительный дух собачьего варева, наливала Берте полную миску, всегда почти с верхом, пото-

му как собака была кормящая и ей, конечно, еды требовалось сверх обычной нормы. И всякий раз, наполнив миску, девушка не упускала случая потрепать холку юной Бьянке. А та уже и ждала её. Издали узнавала шаги в хлопающих резиновых сапогах, чувствовала запах чудесного варева ещё до того, как лязгнет знакомо железная калитка. Подойдёт девушка к клетке, щёлкнет тугим засовом, а Бьянка уже тут как тут, приковыляла навстречу. Тычется мокрой кнопкой носа в тёплую, пахнущую едой ладонь.

— Здравствуй, девочка, здравствуй, хорошая, как ты спала сегодня? Что тебе снилось? — приговаривает Девушка в Чёрной телогрейке, поглаживая Бьянку между ушами, по горлышку и по спине.

Старой Берте не нравились эти отношения. Она прожила в питомнике много лет, родила не одно поколение западносибирских лаек, и каждое в конце концов исчезало в таких вот тёплых руках. Знала она, что так же будет и на этот раз: лишь только дети её подрастут и она перестанет кормить их своим молоком, питомник выставит их на продажу. И дети покинут её. Совсем скоро.

Получив порцию собачьего варева, Берта первой подходила к миске. Втягивала ноздрями полный жирных ароматов воздух, осторожно касалась еды языком. Нередко варево раздавали слишком горячим, и тогда Берта ходила возле миски кругами, ожидая, пока еда остынет. И если в эту минуту кто-нибудь из щенков пытался опе-

редить мать, прежде неё приблизиться к пище, собака приподнимала чёрные брыли, обнажая жёлтые, стёсанные клыки, и негромко, негромно рычала. Приучала малышей к издавна заведённому в собачьем племени закону: первым ест вожак стаи, а все остальные — потом. Даже если это твои собственные дети.

А щенки, подрастая, играли, привыкали к новым знакам, что подавала им мать. К новым запахам и звукам, что посылал им окружающий мир. С каждым днём они всё меньше пребывали в дрёме и всё больше в движении.

Успокаивались только под вечер, когда питомник накрывали студёные сумерки. Сквозь рваное лоскутьё туч, что несло по необъятному небу порывистым ветром, проглядывал леденец полумесяца да мелкая россыпь звезд — не ярких, почти незаметных.

Щенки жались под тёплый бок матери, и она, вылизав сухим языком каждого поочерёдно, долго ещё не спала: прислушивалась к их ровному дыханию, к разнобою крохотных, беспокойных сердец, к их тихому, непорочному посапыванию. В такие минуты, а их в жизни старой суки было немало, всё её тело наполнялось безмерным покоем и умиротворением, великим материнским счастьем. Может быть, на этот раз оно будет не таким коротким?

Пегого кобелька у матери забрали первым. Ночи в конце октября были с первым, некрепким ещё морозцем, так что хруст ледышек под чело-